# Лев Николаевич Толстой

# Песни на деревне

# Толстой Лев Николаевич

# Песни на деревне

Л.Н.Толстой

ПЕСНИ НА ДЕРЕВНЕ

Голоса и гармония были слышны точно рядом, но за туманом никого не было видно. Был будний день, и потому песни поутру сначала удивили меня.

"Да это, верно, рекрутов провожают", ‑ вспомнил я бывший на днях разговор о том, что пятеро назначено из нашей деревни, и пошел по направлению к невольно притягивающей к себе веселой песне. Когда я подходил к песенникам, песня и гармония затихли. Песенники, то есть провожаемые ребята, вошли в каменную двухсвязную избу, к отцу одного из призываемых. Против дверей стояла небольшая кучка баб, девушек, детей. Пока я расспрашивал у баб, чьи да чьи ребята идут и зачем они зашли в избу, из двери вышли сопровождаемые матерями и сестрами и сами молодые ребята. Их было пятеро: четверо холостых, один женатый. Деревня наша под городом, и почти все призывные работали в городе и были одеты по‑городски, очевидно в самые лучшие одежды: пиджаки, новые картузы, высокие щегольские сапоги. Естественно, больше других бросался в глаза невысокий, хорошо сложенный парень, с милым, веселым, выразительным лицом, с чуть пробивающимися усиками и бородкой и блестящими карими глазами. Как только он вышел, он тотчас же взялся за большую дорогую гармонику, висевшую у него через плечо, и, поклонившись мне, тотчас же, быстро перебирая клавиши, заиграл веселую "барыню" и, в самый раз такта, бойко, отрывисто шагая, тронулся вдоль улицы.

Рядом с ним шел тоже невысокий, коренастый белокурый малый. Он бойко поглядывал по сторонам и лихо подхватывал второй голос, когда запевало выводил первый. Это был женатый. Эти двое шли впереди. Остальные же трое, так же хорошо одетые, шли позади их и ничем особенным не выделялись, разве только тем, что один из них был высок ростом.

Я шел с толпой за парнями. Песни всё были веселые, и во время шествия не было никаких выражений горя. Но как только подошли к следующему двору, в котором должно было также быть угощение, и остановились, так началось вытье женщин. Трудно было разобрать, что они причитали. Слышны были только отдельные слова: смеретушка... отца матери... родиму сторонушку... И после каждого стиха голосящая, втягивая в себя воздух, заливалась сначала протяжными стонами, а потом закатывалась истерическим хохотом. Это были матери, сестры уходивших. Кроме голошения родственниц, слышны были уговоры посторонних. "Да будет, Матрена, я чай, уморилась", ‑ услыхал я слова одной женщины, уговаривавшей голосящую.

Парни вошли в избу, я остался на улице, разговаривая с знакомым крестьянином Васильем Ореховым, бывшим моим школьником. Сын его был один из пятерых, тот самый женатый парень, который шел, подпевая подголоском.

‑ Что же? жалко? ‑ сказал я.

‑ Что же делать? Жалей не жалей, служить надо.

И он рассказал мне все свое хозяйственное положение. У него было три сына: один был дома, другой был этот уходящий в солдаты, третий жил, так же как и второй, в людях и хорошо подавал в дом. Этот же уходящий, очевидно, был плохой подавальщик. "Жена городская, к нашему делу не годится. Отрезанный ломоть. Только бы сам себя кормил. Жалко‑то жалко. А что же поделаешь".

Пока мы говорили, парни вышли из дома на улицу, и опять началось голошение, взвизги, хохот, уговоры. Постояв у двора минут пять, тронулись дальше, и опять гармоника и песни. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость игрока, как он верно отбивал темп, как притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал развеселым голосом, поглядывал кругом своими ласковыми карими глазами. У него, очевидно, было настоящее и большое музыкальное дарование. Я смотрел на него, и когда мы встречались с ним глазами, ‑ так по крайней мере мне казалось, ‑ он как будто смущался и, двинув б 1000 ровью, отворачивался и еще бойчее заливался. Когда подошли к пятому, последнему, двору и ребята вошли в дом, я вошел за ними. Парней, всех пятерых, усадили за убранный скатертью стол. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый, с которым я говорил и который провожал женатого сына, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, отпивали не больше четверти стаканчика, а то только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала ковригу и подавала закусывать. Хозяин подливал стаканчики и обносил. В то время как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина в самой показавшейся мне неожиданной и странной одежде. На женщине было светло‑зеленое, кажется шелковое, платье с модными украшениями, на ногах были ботинки с высокими каблуками, белокурые волосы были причесаны по‑модному, и в ушах были большие золотые серьги‑кольца. Лицо женщины было не грустное и не веселое, но как будто обиженное. Она сошла на пол, бойко постукивая своими, с высокими каблучками, новыми ботинками, не глядя на ребят, вышла в сени. Все в этой женщине: и ее одеяние, и ее обиженное лицо, и в особенности серьги ‑ все было так чуждо всему окружающему, что я никак не мог понять, кто она могла быть и зачем попала на печку в избу Василья. Я спросил у сидевшей рядом со мною женщины, кто она.

‑ Сноха Васильева. Из горничных она, ‑ отвечали мне.

Хозяин стал наливать в третий раз, но парни отказались от угощения, встали, помолились, поблагодарили хозяев и вышли на улицу. На улице тотчас же опять заголосили. Первая заголосила вышедшая за парнями очень старая, сгорбленная женщина. Она так особенно жалостно голосила, так закатывалась, что бабы не переставая уговаривали ее и подхватывали под локти воющую, закатывающуюся и падающую вперед старуху.

‑ Кто это? ‑ спросил я.

‑ Да бабка его. Василью мать, значит.

Как только старуха истерически захохотала и повалилась на руки поддерживающим ее бабам, шествие тронулось дальше, и опять залились гармония и веселью голоса.

На выходе из деревни подъехали телеги, чтобы везти призывных до волости, и все остановились. Воя и плача больше не было. Гармонщик же все больше и больше расходился. Он, согнув голову набок и установившись на одной ноге и вывернув другую, постукивал ею, руки же выводили частые, красивые фьеритуры, и, как раз, где надо было, подхватывал песню его бойкий, высокий, веселый голос и приятный подголосок Васильева сына. И старые, и молодые, и в особенности окружавшие толпу ребята, и я в том числе, ‑ все мы, не спуская глаз, смотрели на певца, любуясь им.

‑ И ловок же, бестия! ‑ сказал кто‑то из мужиков.

‑ Горе плачет, горе песенки поет.

В это время к песеннику подошел энергическим, большим шагом тот из провожаемых парней, который был особенно высокого роста. Нагнувшись к гармонисту, он что‑то скаааа ему.

"Какой молодчина, ‑ подумал я. ‑ Этого уже верно зачислят куда‑нибудь в гвардию". Я не знал, чей он, из какого двора.

‑ Чей этот? ‑ спросил я, указывая на молодцеватого парня, у невысокого старичка, подходившего ко мне.

Старичок, сняв шапку, поклонился мне, но он не расслышал мой вопрос.

‑ Чего говорите?

В первую минуту я не узнал его, но как только он заговорил, я тотчас же вспомнил работящего, хорошего мужика, который, как часто бывает, как бы на подбор, подпадал под одно несчастье после другого: то лошадей двух увели, то сгорел, то жена померла. Не узнал я его в первую минуту потому, что, давно не видав его, помнил Прокофия красно‑рыжим и среднего роста человеком, теперь же он был не рыжий, а седой и совсем маленький.

‑ Ах, это ты, Прокофий, ‑ сказал я. ‑ Я спрашиваю: чей этот молодец, вот что подходил к Александру?

‑ Этот? ‑ повторил Прокофий, указывая движением головы на высокого парня. Он качнул головой и прошамкал какое‑то слово, я не разобрал что.

‑ Я говорю: чей малый? ‑ переспросил я и оглянулся на Прокофия.

Лицо Прокофия сморщилось, скулы задрожали.

‑ Мой это, ‑ проговорил он и, отвернувшись от меня и закрывая лицо рукою, захлюпал, как ребенок.

И только теперь, после этих двух слов Прокофия: "мой это", я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туманное утро. Все то разрозненное, непонятное, странное, что я видел, ‑ все вдруг получило для меня простое, ясное и ужасное значение. Мне стало мучительно стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище. Я остановился и с сознанием совершенного дурного поступка вернулся домой.

И подумать, что все это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет долго еще совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом.

8‑го ноября 1909 г.

Ясная Поляна